

Глеб Иванович Успенский

# На старом пепелище



**Глеб Иванович Успенский**  
**На старом пепелище**  
Серия «Новые времена,  
новые заботы», книга 4

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=664865](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664865)*

**Аннотация**

«Рассказ написан в августе – сентябре 1876 года. Успенский описал в нем впечатления от посещения своего родного города Тулы, который он покинул в 1856 году и где снова побывал в 1870 и 1874 годах. По свидетельству дяди писателя Д. Г. Соколова, образ главы калашниковской семьи, фанатического чиновника-администратора, суровый деспотизм которого наложил тяжелую печать на нравственный облик его детей и ближайших потомков, наделен чертами деда писателя Г. Ф. Соколова...»

# Содержание

I	4
II	19
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Глеб Иванович Успенский

## На старом пепелище

### I

– Был на почте?

– Сейчас бегал.

– Ну что же?

– Да ничего нету.

– Да ты бы попросил хорошенько посмотреть!

– Да я уж просил; нет, говорят, ничего нету...

Такой разговор происходил у меня с служителем одной из гостиниц губернского города N, где меня задержало ожидание необходимых писем и бумаг, происходил раз по пяти и более в сутки, а суток этих прошло уже немало: протянулась бесплодно уж целая неделя, и пошла тянуться другая. С каждым разом появления в моем номере бегавшего на почту Тимофея (он действительно *бегал*, и даже без шапки) становились всё неприятнее, тяжелее, потому что по всей его фигуре, по невольному движению его рук, готовых при самом входе в комнату растопыриться врозь, выражая неудачу, я уже догадывался, что он принес все то же «нет», «ничего, говорят, не было». Я чувствовал, что в делах моих произошло то, что знатоки условий русской жизни и судеб, которые,

благодаря им, испытывает всякий русский «расчет», называ-  
ют словом «заколодило». Все до сих пор шло как по маслу,  
было принято во внимание и соображено, кажется, все, что  
надо для успеха дела, дело пошло – и вдруг от какой-то неве-  
домой вам причины (которая окажется только впоследствии,  
и окажется всегда чепухой) все стало, замерло – и замер-  
ло самым бессмысленным образом, прекратилось вопреки  
всем смыслам; непременно нужно уведомление, дорог каж-  
дый час, каждая минута – и нет уведомления; нужно и долж-  
но произойти свидание – свидание, необходимое не столько  
для меня, сколько для того, кто должен видеться со мной, –  
и нет этого свидания. Дело, задуманное давным-давно – сто-  
ящее и сил и денег, расшатывается, валится, а вместе с тем  
в душе закипает неистовая злость. Впоследствии, долго спу-  
стя, оказывается, что и письмо было послано, да только не  
туда, куда надо, а совсем в другое место – ошибся писарь ад-  
ресом; окажется, что и человек, нужный вам, сам спешил к  
вам на свидание, даже чуть не загнал лошадь, да вдруг встре-  
тил хорошего человека (которого сам же называет «скоти-  
ной») и заговорился, например, про охоту на зайцев, и за-  
говорился-то как-то нечаянно, даже шубы и шапки не снял,  
даже валенков не снял – все спешил ехать, да так в дорожном  
костюме и просидел двое суток за закуской... Я чувствовал,  
что и в моих делах произошло непременно тоже что-нибудь  
вроде этого, какая-нибудь нежданная-негаданная чепуха, ко-  
торая может погубить у меня не только эти две-три недели

бесплодного ожидания, а может, год, может, два, – погубить так, ни за что ни про что, просто потому, что там-то забыли «совсем», там-то описались, а там «заговорился» кто-нибудь или «просидел» нечаянно, иной раз просидел все ваше будущее. Я чувствовал, что меня застигла именно эта мертвая минута, когда депеши перевираются и ходят по неделям бог знает где, когда письма идут тоже неведомо куда, когда вообще презрение к своему делу, лежащее едва ли не в корне решительно всех сортов дел, какие только ни делаются на Руси, даже для личного своего благополучия, когда это желание плюнуть на свое дело, убежать от него куда-нибудь подальше вдруг прорвется где-нибудь неряшливостью, небрежностью, забывчивостью и начнет цеплять одну на другую, забывчивость на неряшливость и так до бесконечности, в бесчисленных разнообразнейших комбинациях, покуда, с одной стороны, не заставит вас бросить все, плюнуть, а с другой – покуда все не разъяснится самым простым манером: «И забыл *совсем*, простите Христа ради... Покупал шапку, *вдруг*» и т. д., – говорит виновник всей вашей гибели и так искренно целует в знак извинения, что не извинить невозможно, тем более невозможно, что знаешь, что и сам точно так же, как и все, заговаривался о зайце, когда за плечами стояло дело, что и сам «совсем» забывал очень важные вещи... На все негодовать, иной раз уметь (русская жизнь учит) на все (решительно на все) смотреть с самой дурной точки зрения и в то же время все, самое скверное, самое дурное, прощать,

бесследно забывать – такова, видно, уже участь вообще русского сердца.

Не скажу однако же, чтобы в ту минуту, о которой идет речь, я ждал чего-нибудь иного, кроме необходимых для меня вестей, или чтобы я был расположен кого-нибудь прощать или извинять за эту содеянную со мною чепуху. Напротив: помимо того, что я еще не знал, где произошла эта чепуха, эта роковая описка, тут где-нибудь подле меня или там, откуда я ждал вестей; помимо настоящей надобности узнать, что именно и где именно случилось, были и другие обстоятельства, которые с каждым днем увеличивали раздражение нервов именно тем, что заставляли меня даже насильно принуждать себя думать об этой несчастной почте и письмах, которых я ждал, – думать в такие минуты, когда мне этого вовсе бы и не хотелось...

Беда моя была в том, что город, в котором я остановился, был мне город родной, знакомый вдоль и поперек: здесь я провел свое детство, отсюда ушел странствовать по белу свету и не бывал здесь до сей минуты, лет по малой мере пятнадцать. Беда была в том, что в эти пятнадцать лет я натерпелся на белом свете всякой напасти, настрадался, намутился вволю, по горло, и, претерпевая эти страдания «среди добрых людей», я каждую минуту не добром, скажу по совести, поминал мою родину, мои первые, казавшиеся мне счастливыми молодые годы. Тысячи тысяч раз я был бы рад бог знает что дать, чтобы забыть мое детство, мою раннюю

юность; сбросить с себя эти вериги, наложенные на мои плечи любовью родины, внушившею мне жажду самого ограниченного счастья, ослабившею во мне силу мысли, силу сердца, ослабившею ради, разумеется, только того, чтобы, будучи силен и тем и другим, я не изорвался, не измучился, не истерзался, а прожил бы не волнуясь, покойно, счастливо, был бы здоров и весел. Ошиблись хорошие люди, и благодаря им я измучился в тысячу раз больше, чем измучился бы, если б был мыслью силен и смел, а сердцем лют. Винить в этом некого! Жизнь научила понимать этих измученных, но добрых людей, но зато жизнь эта так меня измучила, благодаря этим же добрым людям, так всего меня изожгла, что забыть эту страшную услугу добрых людей стало потребностью просто-напросто физической. При малейшей вести с родины меня всегда точно обжигало, я чувствовал самую настоящую физическую боль, как бы меня царапали раскаленным железом по телу. Не всякому под силу перенести такую боль, и я боялся думать о прошлом, чтобы не изболеть бесплодно, старался всегда гнать эти тени прошлого, чтобы не пробудить в себе того мучительно негодного для меня хлама, который с такой любовью был нанесен в мою совесть этою страдающею, во мне одним сосредоточившею всю силу любви, родиною. За эти ласки я расплатился основательнейшими страданиями и не хотел вспоминать их, так как у меня была уже другая родина, именно – вот эти самые страдания...

Догадала меня нелегкая на один только день остановиться в этом родном городе, чтобы только взглянуть на него, получить что нужно с почты и тотчас уехать, и вот случилось совсем другое: я сижу в этом городе вторую неделю. Кругом меня тут под окнами все до мелочей мне знакомо, каждая человеческая фигура, каждое деревцо в соседнем саду, звон соборного колокола, вон та красная крыша – словом, все до последней мелочи было мне знакомо, и со всем были связаны тысячи воспоминаний, впечатлений, которые неудержимо стали воскресать в ничем не занятом воображении, а вместе с этими воспоминаниями жгучею болью отзывались впечатления, которые я вынес благодаря «счастливой» юности, проведенной в этом городе, на этих улицах. Этот двойной ряд неожиданно возникших во мне ощущений – ощущений счастья, пережитого здесь, и ощущений глубоких несчастий, которые оно дало мне, были поистине мучительны. Будь это какой-нибудь незнакомый, чужой, новый для меня город, я бы шатался от скуки по бульвару, зашел бы в суд, в театр, поговорил бы с философом-обывателем, сидящим одиноко на набережной и любующимся видом, и много бы узнал от него интересного; так ли, сяк ли, но мне было бы легче перенести это бесконечное ожидание странствующих по свету бумаг и писем. Здесь, в знакомом родном городе, я буквально боялся ступить шаг по улице, боялся выглянуть в окно; как причина, из-за чего я страдал так долго и так больно, меня пугало именно физическим ощущением боли решительно все;

я боялся сам сходить на почту, потому что знал, как будет мне дурно, когда я увижу этот желтого цвета дом, эту дверь, обитую мочалками, громадного почтальона Архангельского (он жив – я видел, как он прошел по улице)... Я боялся выйти на улицу, чтобы не встретить знакомого лица, которое в детстве с любовью улыбалось мне, боялся заглянуть в ту улицу, где и до сих пор стоял наш дом, в котором я родился, боялся увидеть своими глазами гимназию, место, где служил отец, – все это было переполнено для меня такими болезненными воспоминаниями о безгранично любовной для меня лжи, так мучительно отдалось на моей душе впоследствии, что я не мог бы глядеть на все это без того, чтобы не захворать... При виде ли моих земляков, при виде ли знакомых мне местностей, домов, садов (как разрослись-то, если бы вы знали!) я бы поминутно должен был испытывать ощущение упрека, который словами можно бы было передать так: «Всё-то вы меня, господа люди, госпожи улицы и господа деревья и сады, всё-то вы меня обманывали!.. Отчего это вы ни разу не сказали мне, как вы измучились, как вы много утаили от меня вашего горя? Отчего это, государи глухие переулки, не сказали вы мне ни единого слова о том, что мне надо идти стоять за вас горой, что мне надо иметь руки железные, сердце лютное и око недреманное? Отчего вы, бедняги мои, старались всегда «укачать» меня, заговорить меня веселыми словами, когда я плакал от бессознательной тоски, говорили мне: «не думай!», вместо того чтобы разбудить, сказать: «ду-

май, брат, за нас, потому наших сил нету больше!..» Убаю-  
канный вами, я спокойно спал и не знал, что в темные осен-  
ние и зимние ночи, когда на дворе хлещет дождь или воеет  
вьюга, вы поедом ели, ни в чем неповинные, друг друга и  
проклинали свою адскую жизнь. Зачем ничего-то этого вы  
мне не сказали? Зачем я не знал, что измучили вас эти ночи,  
измучили дни, измучили эти дома и сады, – разве я такой  
бы был? Разве бы я не постоял за вас, горемычные мои? А  
вы всё молчали, да таили, да прятали... посмотрите-ка, как я  
измучился-то, покуда узнал!..» – «Да ведь это мы любя! ведь  
мы всю душу-то, какова она есть... тебе», – отвечали бы мне  
на мой упрек все эти знакомые места, эти разросшиеся са-  
ды, знакомые звуки колоколов...

Вот это-то и было трудно, невозможно перенести... Они  
клали в меня всю душу, а я приду упрекать их – это нехоро-  
шо, обидно, а не упрекать невозможное. Если бы я так, про-  
сто, без всяких монологов, явился к ним, то один вид мой  
сразу бы измучил их. Они чутки, ужас как чутки на муче-  
ние, – и сразу бы, при одном взгляде, поняли, что их любовь  
не спасла меня... а это еще хуже всякого упрека.

Вот почему я решил никуда не показывать глаз из мое-  
го номера; я даже опустил шторы в окнах и усиливался пред-  
ставить себе, что я не дома, не на родине, а там, в какой-то  
неведомой стране, где неаккуратно доходят письма, где пе-  
ревирают депеши. Но, несмотря на спущенные шторы, тучи,  
вереницы воспоминаний так и рвутся, так и лезут в эту ком-

нату...

Морозное утро; я еду в гимназию, еду веселый, довольный; я знаю, что мне не поставят единицы, не оставят без обеда, не тронут пальцем... Там уж позаботились, чтобы ничего этого не было... Даже так позаботились, что учителя явно несправедливо stanovят мне отличные отметки... Нет!

– Тимофей! – отгоняю я эти воспоминания и кричу в коридор.

Тимофей несется на всех парах и на ходу возвещает:

– Не приходила!..

– Как не приходила?..

– Да, стало быть, что не было... Сейчас бегал... говорят нету!

– Как нету?

Я говорю это, чтобы отделаться от воспоминания о том, что было в классе, в который вошел я... Воспоминания так неприятны, что я уж сам не знаю, какой еще задать Тимофею вопрос, чтобы только слушать какой-нибудь другой голос, а не тот, какой звучит во мне...

– Сабашникову, – бормочет Тимофей, – точно было письмо. Еще было этому... как его?.. Щекотуркину... толстое... Ну, а Болтушкину – так уж ах сколько оказалось пакетов – чистая страсть!

– Болтушкину?

– И Болтушкину и Животову... Что Животову, что Болтушкину – так это одно погляденья достойно... И что так

много пишут?

Тимофей философствует довольно долго, и я внимательно-нейшим образом слушаю его. В самом деле: отчего так много получает писем этот Болтушкин? И об чем ему пишут? стараюсь сообразить я и, чтобы удержать разговорившегося Тимофея, говорю:

– И Животов тоже много получает?

– Животов? Животов писем получает целую прорву!.. Вот как я скажу...

– А Болтушкин?..

– Ну, и Болтушкин тоже хорошо... довольно деликатно ведет дело...

– Болтушкин-то?

– И Болтушкин и еще вот молодой тут есть один, Кузнецов, купец... вроде как сумасшедший; ну что добер – так уж нет его добрей, надо сказать прямо. Болтушкин что! Или тот, Семиглазов! – положим, что само собой, – ну что Кузнецов, или, опять взять, еще дьякон у нас есть Гвоздев, – ну и бацище же – владыко живота моего!

Передаю речи Тимофея так, как они доходили до моего понимания; многого я не слышал, отгоняя свои разговоры; по всей вероятности, в его речах была связь, но я этой связи уловить не мог. Я слышал что-то про дьякона, про пакеты, Кузнецов, Болтушкин, «а то вот еще скворец у меня был» – только я был очень благодарен Тимофею за его разговорчивость. Мало-помалу, благодаря ему, я начинаю ровно ниче-

го не понимать и задумываюсь над каким-нибудь совершенно посторонним вопросом, возникшим из разговоров Тимофея, и долго после его ухода думаю или о дьяконе, о баше, или скворце и задаю себе вопрос: можно ли выучить скворца петь «Коль славен»? Тимофей говорит, что можно». Иной раз, благодаря Тимофею, подвернется такая тема, что поне­многу унесешь за тридевять земель... а там устанешь и кой-как заснешь... Но и во сне постоянно меня что-то грыз­ло, что-то ело; не письма, не бумаги, а всё те же воспомина­ния, тот же несправедливый упрек, закаменевший у меня в сердце, тяготил и давил меня... Просыпался я чуть свет, больной, точно избитый, и сразу вспоминал, где я, что около меня, и почти с испугом опять вопил к бедному Тимофею.

– Да ты как спрашивал-то? – вопиял я в страстном нетер­пении уехать из этого мучительного места.

– Да вам спрашивал.

– Как же именно?

– Да собственно на ваше имя... Нет ли, мол, говорю... нет, говорят, нет...

– Да как же, как, мол, фамилия?

– Там в записке сказано.

– Да цела ли записка-то?

– Куда ей деться? – известно, цела.

– Нету?

– Нет, говорят, не было... Животову есть и Звереву есть, а вам нет...

И так вновь начинается мучительный день.

А на дворе июль, раскаленные, нестерпимо жаркие дни... Пыль несется на окна с пустой улицы... В номере мухи, запах кухни... Повар неистово стучит ножом где-то очень близко и колотит им, повидимому, по чем ни попало... «По грушу, по грушу!» – долго, по крайней мере с полчаса, визжит (буквально) торговка, и этот визг опять напоминает кой-что... Стараюсь заглушить это кой-что размышлением о том, что будут делать с моим письмом, если его занесет куда-нибудь в Тифлис вместо Москвы... Удар в колокол «к вечерне»... Представляю себе, как чешет косы дьякон, бас, как он откашливается после сна и пьет квас... и опять кой-что вспоминаю... Слава богу – кто-то гаркнул, не то на дворе, не то на улице: «Что ж салме-то<sup>1</sup>, черти этакие? Сидит барин – чуть живой...» – «Чорт и с барином-то со своим», – отвечает тоже неведомо откуда другой голос... Обдумываю – почему не несут салме?.. Вдруг – под окнами раздается какое-то неистовое царапанье по камням... Это плетется пьяный мужик, плетется почти без памяти. Я не глядел в окно, сторы у меня были опущены, но я твердо знал, что это именно плетется пьяный мужик; знал, как именно он плетется, и что чувствует, и как у него едва-едва что-то брезжит в голове; знал, что захмелел он так неистово не больше как от одного стаканчика, выпитого на тощий желудок без закуски, на которую мужик пожалел денег; знал, что первый тротуарный

---

<sup>1</sup> Салме — рагу из жареной дичи.

столб, подвернувшийся ему под ногу, свалит его в канаву, откуда уж ему не будет никакой возможности выбраться... Не глядя в окно, я видел, как на этого мужика, барахтающегося и всего вымазанного грязью, бессильного, очевидно ничего не понимающего, будут смотреть и посмеиваться лавочники, приговаривать: «Так, так – ишь разукрасился как, вот так ловко! Ха-ха-ха! – совсем с головой в лужу юркнул: утка, одно слово!..» Видел, как на этого мужика смотрел из окна чиновник, только что вставший от послеобеденного сна, и знал, что этому зрителю будет скучно, когда, наконец, уведут этого мужика в часть; а уведут его непременно и бесчеловечно... Медленно подойдет городской и, как специалист своего дела, сначала разгонит публику, наблюдающую беспомощное валянье бессильного человека в грязи, а потом приступит и к самому этому человеку... Он будет приставать к нему с расспросами, зная, что он отвечать ничего не может, потому что ничего не понимает... Будет его гнать, кричать: «ступай, ступай, нашел место!», зная, что он не может идти, не может сделать шагу; будет дергать его за руку и тем еще более ставить в беспомощное положение... «Гас-сс-спадин», – одолеет кое-как произнести безрукий, безногий, ничего не понимающий человек, как бы приглашая войти в его положение, но всякий служащий обществу русский человек считает за службу именно только необходимость не входить ни в чье положение... Его приучили думать, что слугою он будет только тогда, когда выработает в себе способность по-

ступать против собственных соображений и против движений собственного сердца. Над мужиком поэтому не только не сжалятся, а, напротив, начнут его рвать и трепать; поставив кое-как на ноги, его вдруг поволокнут что есть духу, так что непременно придется упасть снова... Вот он ударился головой об угол стены, ударился крепко, больно, так больно, что даже закричал... хотел поднести руку к затылку, но его рванули за руку и опять поволокли... Всю дорогу его осыпают ругательствами, всю дорогу он получает пинки... «Чего стал? Н-оо! ид-ди! нажрался, ненасытная твоя утроба!» Знал я, что так его протащат улицы две-три, что он дорогою весь изобьется об стены и об камни, что у него непременно раздерется местах в десяти рубаха, что он потеряет шапку, рублевую бумажку, паспорт, за который потом расплатится еще горше... Знал, что его так толканут в темную кутузку, что он, ударившись виском о скамейку, совсем ошалеет и повалится без всякого «знаку», то есть без памяти... Очнувшись ночью, весь больной и избитый, ничего не понимая, не зная, где он, что с ним, он догадается, что у него пропали деньги, будет охать и стонать и от боли и от пропажи, будет стараться выйти из этой темноты, будет стучать в дверь, в стену, будет просить «испить», но ему никто не ответит ни единого слова... «Ох, смерть моя... Ах, ах, ох... а-а-а-ах ты, царица небесная!.. Жжет!..» – без ответа будет раздаваться в темноте кутузки всю-то, всю темную, длинную ночь...

– Тимофей, Тимофей! – кричу я опять в коридор... – Да

что же это?.. Когда же, наконец?

Но на этот раз даже Тимофей не оказывается в коридоре, и мне приходится оставаться одному.

## II

Так прошла целая неделя, и потянулась другая... Болтушкин, Животов и Кузнецов аккуратно получали каждый день «удивленья даже» (слова Тимофея) сколько писем, а я все ничего не получал... Я стал понемногу затихать, точно опускался на дно глубокой реки, точно тонул в неизвестности и темноте сегодняшнего и завтрашнего дня. Этому помогло еще следующее обстоятельство: догадало меня попросить Тимофея сходить в книжную лавку, принести какую-нибудь книгу; он принес роман: «Похождения Рокамболя»<sup>2</sup>... С большим, признаться, презрением посмотрел я на эту книгу и почти с отвращением прочел первую страницу: все до того глупо и неестественно с самой первой строки, что, казалось бы, надо просто бросить сейчас же книгу под стол, – не тут-то было. Мое неестественное состояние оторванности от окружающей действительности, мое желание забыть место, где я был теперь, и все, что с этим местом связано, заставило меня именно заинтересоваться неестественностью романа и среди полного моего душевного одиночества отдать господину Рокамболю все мои симпатии... Я по-

---

<sup>2</sup> «Похождения Рокамболя» – серия романов французского бульварного романиста Понсон дю-Террайля («Похождения Рокамболя», «Парижские драмы» и «Воскресший Рокамболь») была издана в русском переводе в одиннадцати томах в Петербурге в 1867–1868 годах.

нял в эти минуты, почему нелепый, ничего живого не заключающий в себе французский роман маленьких газеток с такою жадностью читается бедным рабочим классом; более ужасного одиночества, в которое поставлен европейский рабочий, трудно себе представить; революция, уверив его, что он – не скот, а человек, все-таки до сей минуты не дала ему уюта, а оставила одного среди пустой площади и сказала: «ну, брат, теперь живи, как знаешь». Кругом него всё чужие, – и вот почему Рокамболь, сто раз умирающий, сто раз воскресающий, может заставлять грустить и радоваться одинокое сердце... Пожалуйста, господа романисты, берите краски для романов, которые пишете вы рабочему одинокому человеку, еще гуще, еще грубее тех, какие вы до сих пор брали... Одиночество человека становится все ужаснее, судьба загоняет его все в более и более темный угол, откуда не видно света, не слышно звуков жизни... Бейте же в барабаны, колотите что есть мочи в медные тарелки, старайтесь представить любовь необычайно жгучею, чтобы она в самом деле прожгла нервы, также в самом деле сожженные настоящим, заправским огнем... Не церемоньтесь поэтому, господа дешевые романисты, рисовать все, что есть хорошего в жизни, самыми аляповатыми красками, доводить черты красивого, великого до громадных размеров, чтобы нам было видно их из такой страшной дали... Пусть невинность в ваших романах не продается ни за какие деньги, пусть бедная, умирающая с голоду прачка будет в ваших произведениях

настолько невероятна, что не только не согласится продать себя, а напротив, вопреки всяким смыслам, возьмет и сожжет на свечке, тут же, перед глазами ее покупателя и перед изумленными глазами читателей, банковый билет (смело пишете цифру и не церемоньтесь с сотнями тысяч и даже миллионами), который ей дают в руки и который в одну минуту может возвеличить ее. Пусть она непременно этот билет сожжет, а сама все-таки умрет с голоду... Так же невероятно и невозможно представляйте вы, господа романисты, и все другие человеческие отношения... Красота женщин должна изображаться особенно нелепо: грудь непременно должна быть роскошна до неприличия; сравнивайте ее с двумя огнедышащими горами, с геркулесовыми столпами, с египетскими пирамидами... Только такими невероятными преувеличениями вы можете заброшенному в безысходную тьму одиночества человеку дать приблизительное понятие о том, что другим доступно в настоящем безыскусственном виде действительной красоты... Без этих преувеличений ему нет возможности ощутить и пережить хоть что-либо подобное, нет возможности узнать ни красоты души, ни красоты форм... Грудь работающих женщин сохнет рано – и уж какие же формы после пяти, десяти лет поденной работы? И где в этой тьме крошечной найдутся такие прачки, которые бы подорожили своею невинностью за сумму и гораздо меньшую, чем сотни тысяч и миллионы?.. Если бы не являлся нелепый романист и не врал нам, темным людям, про этих пра-

чек, про этик красавиц, не нагородил бы нам с три короба про разные какие-то добродетели необыкновенные, то, право, жизнь, то есть одна только голая действительность, сумела бы совсем отучить темных одиноких людей от самома-лейшей тени представлений добродетели, красоты, невинности... Следуя этому плану, господа нелепые романисты могут быть уверены, что их Рокамболь может воскресать сто тысяч раз и всякий раз его примут с распростертыми объятиями... Он в этой тьме одиночества – друг и приятель, вокруг которого жизнь кипит ключом, как вода вокруг парового колеса; возможно ли с ним расстаться когда-нибудь?

В этой невозможности я убедился на собственном опыте. Среди полного моего одиночества Рокамболь окружил меня такую чепухой и в такое короткое время, что я, сам не замечая этого, рад был принять эту чепуху за действительность (так как настоящую-то действительность я старался забыть) – и зачитался... Когда под конец третьего тома Рокамболю пришлось плохо (ему обожгли рожу порохом), я очень его жалел, и жалел потому, что боялся: ну-ко, он не переживет, и я останусь один?.. К великой моей радости, Тимофей, возвратясь из книжной лавки, подал мне продолжение, называвшееся «Воскресший Рокамболь», с пометкою том 1-й. «Э, – подумал я, обрадовавшись: – том первый! стало быть, их пойдет еще много», – и с величайшею радостью принялся за чтение... Оказалось, что рожу Рокамболю вылечили как нельзя лучше (я почувствовал уважение к науке), и он

снова пошел в ход, а я с легким сердцем поплелся за ним... Но под конец третьего тома положение мое сделалось весьма затруднительным... На сцене явился русский казак, ростом в полторы сажени, с кулаками по полупуду, а то по целому пуду, и я видел, что теперь Рокамболю предстоит явная смерть... Действительно, казак бросил Рокамболя в воду... Я все ждал, что он как-нибудь выплывет, но автор заставил испытать мое чувство глубокой жалости, на целом десятке страниц поддерживая эту надежду, и под конец объявил, что – не выплыл. Под этим подписано «конец». Я почувствовал, что и мне теперь – «конец». Тимофей понес книги в лавку, а я вновь должен был отдаться уж настоящей действительности, что, после столь отдаленных странствований, казалось поистине невыносимым... Что делать? думал я...

Поистине неопишное счастье испытал я, когда Тимофей возвратился из лавки с запиской, в которой было оказано: «Ево ище много будет, воскрещева... Как отдаст Животов, биззамедления предоставлю. Покудова посылаю журнал; Будет вторительно воскресать в пяти частях». Точно манна небесная была для меня эта записка. Уж как я был благодарен этому «книжному лавочнику»! Я знал его, этого придурковатого мещанина, приютившегося на базаре в маленькой лавчонке с разного мелочью (табак, спички), покупавшего у гимназистов книги и снабжавшего чтением бедный люд. Тимофей сказал мне, что этот лавочник – все тот же самый; «пьет шибко! – прибавил он, – а человек ничего...» Надо

быть золотым человеком, чтобы так понять тоску читателя и предупредить его, чтобы он не скучал, что еще будет много «ево», «воскрещева»... Сколько добра сделал на своем веку этот человек, подумал я, и сколько перенес он всякого горя. Один лавочник, торгующий папиросами, у которого нанимает он уголок для своих книг, один этот лавочник вот уже лет двадцать ругает его за то, что у него нет никакой торговли, так как действительно ее нет: книгу возьмут и не отдадут; это – уж такой провинциальный закон... А он все терпит, все похлопывает пальцем по обертке «Тайн мадридского двора»<sup>3</sup> – и читает о них лекцию и табачному лавочнику, и писцу с почты, и мещанину, который хочет «почитаться» чего-нибудь...

Воспоминания о книжной лавке на толкучке, о вечно красном носе ее хозяина, о его страсти к литературе и его литературных мнениях снова повернули мою мысль на старое, на прошлое, и я, чтобы забыться, волей-неволей взялся за книгу, которую принес мне Тимофей вместе с запиской... Это был один из старых номеров лучшего русского журнала... Все было знакомо, прочитано; один вид и формат страниц, одни названия статей сразу напоминали необычайно много, что, после Рокамболя, после полного забвения действительности, было вовсе некстати... Что-нибудь, одна-

---

<sup>3</sup> «Тайны мадридского двора» — роман Г. Борка. Русский перевод его под заглавием «Изабелла, или Тайны мадридского двора. Исторический роман из времен новейшей Испании» вышел в 1874 году.

ко же, надо было делать с этой книгой, она была у меня в руках... После Рокамболя, который меня совершенно вывихнул, перевернул вверх ногами «вся внутренняя моя», мне и тут, в этой очень дорогой книге, хотелось отыскать что-нибудь такое, что бы хоть отчасти поддерживало эту вывихнутость, что-нибудь такое, что бы не имело с действительностью никакого соответствия... И, к великому моему удовольствию, я действительно нашел в ней, именно теперь, ни с чем не соответственную страничку... «Парижские моды», – прочитал я – и обрадовался. «Вот, – подумал я, – штука, которую я никогда не читал... «Моды»! В этаким журнале!.. Это что-то, должно быть, очень интересное... «На последнем придворном балу в Тюильери»<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Тюильери* – резиденция Наполеона III.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.